



## Владислав ХОДАСЕВИЧ

### От полуправды к неправде

Весной 1923 г., в Берлине, закончив первый том своих воспоминаний об эпохе символизма<sup>1</sup>, Андрей Белый написал к нему обширное предисловие, которое тогда же прочел мне, Н. Н. Берберовой и С. Г. Сумскому, своему издателю. В этом предисловии некоторым моим стихам и мне лично было отведено столь значительное и почетное место, что я испытал крайнее смущение. Незаслуженные и неумеренные похвалы мне резали слух. Настоять на том, чтобы они были исключены, — значило заставить Белого выбросить все предисловие, а главное — обидеть его не только в качестве автора, но и друга. Пришлось ограничиться тем, что я убедил его тотчас исключить несколько слишком сильных строк, а в остальном положился на волю Божию и на время, надеясь, что когда дело дойдет до корректуры, мне удастся добиться еще некоторых смягчений.

Случилось иначе. Через несколько месяцев Белый стремительно сорвался с места и уехал в советскую Россию, перед самым отъездом грубо порвав и со мной, и с Берберовой, и еще с некоторыми людьми, немало труда и сил положившими на то, чтоб его сберечь в полубезумный берлинский период его жизни<sup>2</sup>. Книга осталась у издателя, впоследствии была даже набрана, но по случайным причинам не вышла в свет (говорят, матрицы, снятые с набора, где-то хранятся по сию пору). Мысль о своем труде Белый, однако же, не оставил. «Начало века» он еще раз написал сызнова — книга вышла в Москве в конце 1933 г., месяца за два до его смерти. Прежнего предисловия в ней уже, разумеется, не было. Обо мне было несколько упоминаний, сочувственных, но мимолетных: в ту эпоху, которую охватывает «Начало века», наше знакомство было поверхностно. Зато в появившемся ныне продолжении, озаглавленном «Между двух революций», Белый посвятил мне страницы две — и каких! Нынешняя брань поистине стоит былых похвал: столь же она неумеренна и незаслуженна.

По этой причине она меня и не огорчает, как похвалы не радовали: знаю, что истинное его отношение ко мне — не там, и не здесь, потому что и там, и здесь — надрыв, надрыв, самовзвинчивание.

Печалит меня совсем другое. Оставив в стороне «мнения», обращаюсь к фактам, сообщаемым обо мне<sup>3</sup>. Начинается с того, что я «жил в доме Брюсовых, распространяя семейные тайны о ссоре родителей с сыном». Но в доме Брюсовых я так же никогда не жил, как в доме Шекспиров, а семейных тайн в этом очень порядочном доме никогда не было, как не было ссор «родителей с сыном», потому что Брюсов был любящий и почтительный сын, а родители им гордились и на него радовались; впрочем, отца Брюсова я и видел всего раза два в жизни. Далее сообщается, что в журнале «Перевал», где я был секретарем, он, Белый, попал «Ходасевичу в лапы». Это — в 1907 г., когда я был круглым нулем, а Белый — знаменитым писателем! И вдруг, через несколько строк: «Но в 1907 г. в “Перевале” таки мне помог он». Всякому ясно, что я так же не мог Белому «помочь», как не мог его душить в своих «лапах», да он и не нуждался ни в чьей помощи, потому что редакция «Перевала» видела в нем самого ценного из своих сотрудников. Наконец, сообщается, что «очень многое» мне прощали за то, что я внушал жалость своими болезнями, и тут названы две тяжелых болезни, действительно мною перенесенные, но... не в ту пору, о которой идет речь, а ровно десять и даже четырнадцать лет спустя! Выходит — «жалели» меня авансом...

Несчастье в том, что сказанное обо мне характерно для всей книги. Пусть бы Белый, понося не только меня, но, за ничтожными исключениями, всё и всех, исходил из действительных фактов: люди грешны, дурное можно припомнить о каждом. «Изнанка символизма», показанная правдиво, имела бы свою мемуарную ценность. Но Белый фантазирует — в этом заключается характерная особенность работы, с особою силой проступившая именно в этом томе. Я уже писал по поводу «Начала века», что будущему историку символизма придется отнестись к воспоминаниям Белого с осторожностью. О новом томе приходится сказать, что он очень много дает для понимания самого Белого, еще больше — для понимания беловской психологии в предсмертный период, но по существу содержит неизмеримо больше вымысла, нежели правды. О том, как и почему это случилось, стоит рассказать хотя бы в основных чертах (подробный рассказ занял бы слишком много места и потребовал бы целого экскурса в область жизни и психологии Андрея Белого).

История беловских мемуаров сложна<sup>4</sup>. В 1921 г., тотчас после смерти Блока, Белый прочел о нем в Петербурге, а потом в Москве, воспоминания, имевшие большой успех. В расширенном и до-

полненном виде они были напечатаны в одном альманахе. По приезде в Берлин Белый вновь переработал их для журнала «Эпопея». Эта третья редакция, сильно разросшаяся, навела его на мысль превратить воспоминания о Блоке в трехтомные воспоминания об эпохе символизма вообще. Так возникла четвертая редакция, та самая, о предисловии к первому тому которой говорится в начале этой статьи. Работа над ней осложнилась важным обстоятельством. Первоначальные воспоминания носили по отношению к Блоку явно апологетический характер. Расширяя и уточняя материал, Белый поневоле должен был ближе коснуться своих личных отношений с Блоком. Далеко не все в них было безоблачно: многое было даже драматично. Драма возникала из идейных расхождений, в свою очередь имевших особую, личную подкладку, которой Белый касаться не мог. Следовательно, не мог он коснуться всего того, что некогда у него накопилось против Блока. Такая связанность до крайности его раздражала, но он крепился: изображал Блока в чертах, так сказать, идеальных: начищал Блока, как самовар, по собственному позднему выражению. Таким образом, писание о Блоке ему самому виделось как писание некоей полуправды. Однажды вступив на этот путь, он уже не мог удержаться и подавляющему большинству всех других персонажей стал придавать карикатурные, порой отталкивающие черты, делая это отчасти для того, чтобы Блок был светлее на темном фоне, отчасти мстя всем и всему за то, что принужден писать полуправду. Здесь необходимо вспомнить и то душевное состояние, в котором Белый тогда находился, мучимый тяжелой личной драмой. Белый всю жизнь страдал чем-то близким к мании преследования, порой принимавшей очень острые формы. Так было и теперь. Все, что в людях ему чудилось и подозревалося, в своих мемуарах он высказывал без проверки и оглядки, как подлинная действительность. Видя, что книга грозит превратиться в полубезумный обвинительный акт против всего и всех, некоторые друзья, в том числе и я, старались направить его на путь более справедливых оценок. Для этого нужно было настаивать, чтобы он не упускал из виду, что пишет ни в коем случае не собственную биографию, а объективные воспоминания обо всей эпохе. Эти усилия наши пропали даром: если в берлинской, четвертой, не увидевшей света редакции Белый еще сдерживался, то, приехав в Москву и приступив к пятой, он окончательно соскользнул от мемуаров об эпохе к автобиографии. Автобиографичность нового труда своего он даже подчеркнул тем, что «Началу века» предпослал особый, ранее не предполагавшийся том, «На рубеже двух столетий» — воспоминания о своем детстве и раннем юношестве.

Перенеся центр воспоминаний с Блока на себя, Белый одну полуправду заменил другой, противоположной: апология Блока пре-

вратилась в апологию Белого, и как раньше до самоварного блеска начищен был Блок, так теперь стал начищаться Белый, на Блока же была вылита вся муть, накопившаяся в душе против Блока и чуть ли не всего мира. И когда оказался непощажён Блок — что же говорить о прочих? Зная психологию Белого, можно сказать с уверенностью, что и на сей раз он тайно себя контролировал и про себя сознавал, что фантазирует, но это должно было только еще больше ожесточать его, подливать масла в огонь: в глубине души он всегда любил правду.

Наконец дело дошло до эпохи 1905—1917 гг. Белый стал писать «Между двух революций». Как почти вся русская интеллигенция, он всегда был настроен более или менее лево. Однако его левизна, даже в ту пору, когда, вместе с Блоком, он сочувствовал если не идеям, то тактике большевизма, ничего не имела общего с марксизмом, о котором, при всей своей образованности, он в конце концов имел довольно отдаленное понятие. Беловская революционность была сродни есенинской, большую роль в ней играли мотивы, по существу чуждые и даже враждебные марксизму. Но последние свои книги Белый писал в советской России, под пристальным взглядом большевиков и для аудитории, воспитанной на марксизме. Чтобы автоапология достигла цели, чтобы вызвать сочувствие нового читателя и нового критика, Белому пришлось, когда зашла речь о междуреволюционной эпохе, прежнюю полуправду своих писаний превратить в окончательную ложь. Без улыбки (очень мучительной) невозможно читать, как он силится представить себя чуть ли не правоверным марксистом, а символизм — проявлением ненависти к капитализму, как старательно вспоминает и раздувает каждую мелочь, которая может ему зачеститься в послужной список «революционера». И если раньше чуть ли не все окружающие мерещились ему чуть ли не демонами, злоумышляющими против него, почти солнечного героя, почти «огненного ангела»<sup>5</sup>, то теперь, в соответствии с новым освещением событий, своих личных недругов он был вынужден превратить в акул и наймитов капитализма. Их демоническая природа, однако же, сохранилась, и опять-таки невозможно не улыбаться, видя, как из-под фраков и сюртуков этих врагов пролетариата высовываются хвостики добрых старых чертей. Как бы то ни было — подавляя былую свою психологию, психологию мистика, Белый пуще всего старается отречься от всякого мистицизма — и тут уже прямо валит с больной головы на здоровую. От неправдивого освещения фактов он в последней книге переходит к их искажению и измышлению. Недаром Ц. Вольпе, критик-марксист, которому поручили написать предисловие к новому тому воспоминаний Белого<sup>6</sup> (предисловие к «Началу века» было написано еще Каменевым), с легкостью уличил Белого: путем ссылок на печат-

ные источники девятисотых годов, Вольпе доказал неопровержимо, что ссора Белого с Блоком произошла не от того, что Белый протестовал против «мутной мистики» Блока, а как раз наоборот: от того, что Блок изменил беловской мистике. Таким образом, Белому не удалось ввести в заблуждение даже большевиков. Они ему не верили, когда он говорил правду, — и тем меньше поверят ему теперь, когда его память омрачена загробной ложью.

К славе Белого его последние книги ничего не прибавят. Они, конечно, свидетельствуют о его внутреннем распаде. Но не следует забывать, что этот распад именно потому трагичен, что в Белом *было чему распадаться*, что был он не только замечательным писателем, у которого, порой сами того не зная, учились многие строгие критики его писаний, но был еще и замечательным человеком, в истинной, неомраченной своей сущности — неизмеримо лучшим, нежели многие из тех, кто теперь злорадствует по поводу его жалких посмертных книг. И когда слышим теперь, как смакуют падение Белого, как радуются — «он мал, как мы, он мерзок, как мы!» — хочется ответить: «врите, подлецы! он и мал, и мерзок, не так, как вы — иначе!»<sup>7</sup>

